

XIII Международный литературный Тютчевский конкурс «Мыслящий тростник»

Лидия ДОВЫДЕНКО (Калининград)

1 место в номинации «Философское эссе»

«Духа мощного господство»

Друзья и враги России в книге В.В. Кожина «Тютчев»



*...Здесь духа мощного господство,
Здесь утонченной жизни цвет...
Афанасий Фет*

Известный русский критик 20-21 веков [Михаил Петрович Лобанов](#) в своей итоговой книге «Твердыня духа» (2010) писал о главных вехах в развитии русского национального мировоззрения: «Прошлые России, нашего народа так безгранично богаты содержанием, что можно говорить только о крайне малой соотнесённости этому в литературе. И здесь для познания России дороги свидетельства писателей, книги которых расширяют, обогащают наше представление о великой стране, о народной жизни».

К таким авторам принадлежит великий поэт и дипломат Фёдор Иванович Тютчев (1803-1873), отличающийся «внутренним зрением» и широтой взглядов, постановкой актуальных вопросов, избегающий внеисторических концепций. Он осознавал свою миссию, свою ответственность, высшие смыслы пребывания человека на Земле, как живущего по закону Совести, самопознающего, кто мы, где и куда идём.

Среди многих исследователей жизни и творчества Фёдора Ивановича Тютчева (его творчество высоко ценили Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой) я бы выделила выдающегося русского критика 20-го века Вадима Валериановича Кожина (1930-2001), автора книги «Тютчев», вышедшей в серии ЖЗЛ и изданной в «Молодой гвардии» в 1988 году, а затем неоднократно периздаваемой. Обоих: и автора книги, и героя её, - связывает величайшая вера в Россию, глубокое желание и стремление – постичь её историю, её веру, преемственность поколений.

Книга о поэте и истории России

«Душа хотела б быть звездой». Тютчев долго был такой — светлейшей, но незримой — дневной звездой. Палящие лучи грандиозного пожара, охватившего Россию, сокрывали эту звезду... Но теперь мы все видим её проникновенный и неиссякаемый свет.

В.В. Кожин

Вадим Кожин писал после выхода его труда «Тютчев», что у него получилась книга не о поэте и не о литературе, а об Истории, потому что через судьбу Тютчева прослеживается история России, судьба русской мысли и литературы в 19-м веке: Отечественная война 1812 года, восстание декабристов, славянофильское движение, гибель Пушкина, Крымская война.

Кожин отмечает, что в истории литературно-философского направления сложилось ложное представление, что после восстания декабристов в России наступила эпоха безвременья и бездействия. Если взглянуть пристальнее на историю славянофильского движения, то мы убедимся в том, что это было время активной творческой и мыслительной деятельности по осознанию истории и национальной идентичности. Поколение Любомудров, практически ровесников Тютчева, в своих историософских построениях было стимулировано ожиданием новой исторической эпохи, в которой они принимали на себя ответственность за неё, отвергая косность и застой, опираясь на народные начала развития и совершенствования: русский народ должен осознать выработанные историей начала, а не заимствовать их из другой культуры.

Среди лидеров славянофилов выделялся *Алексей Степанович Хомяков* (1804-1860), поэт, драматург, публицист, богослов, философ, изобретатель. Он задумался о «Смысле и разуме мира земного», от которого зависит судьба человечества. Какими бы ни были деления человечества по племенам, государствам, всё сводится к выгоде и благу, или к приоритету духовности и нравственности.

Хомяков делит народы на два типа: народы-земледельцы и народы завоеватели. Земледельцы восприимчивы и терпимы ко всему чужому, сочувственно относятся к другим племенам. Народы-завоеватели обладают чувством личной гордости и с презрением относятся ко всему иноплеменному и чужому. Земледельцы благословляют «всякое племя на жизнь вечную и развитие самобытное». Завоеватели — не щадят побеждённых. Столкновение двух типов в истории постепенно приводит к утрате народами-домостроителями своих самобытных черт, «врождённых

коренных начал». Примером земледельческого народа в истории служат славяне, примером завоевательного — германцы.

Поиску истинных основ исторической жизни России посвятил ряд своих работ другой видный представитель славянофилов *Константин Сергеевич Аксаков* (1817–1860). Рассматривая самобытность исторического пути России, Аксаков предостерегал от перенесения «европейских воззрений» (например, таких, как консерватизм или революционность) на русскую историю. Аксаков делал акцент не на сходстве истории России и Запада, а на различии, полагая, что оно существует изначально. Государства Западной Европы, — утверждает Аксаков, — были образованы завоеванием, поэтому в их основе лежит вражда и грубая сила. Опирающаяся на насилие, власть воспринимает народ в качестве раба, что вызывает ответное сопротивление со стороны народа и толкает его на бунт и революцию. Насилие, рабство, вражда — основы жизни на Западе и характеристика его истории.

Русская история, напротив, началась с добровольного призвания власти в 862 году. Затем в 1612 году это призвание повторилось; на русский престол был избран Михаил Фёдорович Романов. Русский народ осознанно, а не принудительно признает необходимость государственной власти. Вся русская история, с точки зрения Аксакова, говорит о верности русского народа власти монархической. Мир и согласие — начала русской истории. Добровольность, свобода, мир — основы русской жизни. В отличие от Запада, полагал Аксаков, в России сложились особые отношения между народом и властью, которые он характеризовал, как «союз народа с властью». Власть в России опирается не на договор, а на «нравственное убеждение» народа в её необходимости; и народ выступает «первым стражем власти».

Тютчев разделял основные идеи славянофилов, проявлял интерес к славянскому вопросу, пронёс через всю свою деятельность в качестве дипломата убеждения любомудров. Он видел в России самобытный путь развития, отличный от западноевропейского, был убеждён в особой миссии России в мире, что созвучно славянофильским взглядам. Им Тютчев посвятил стихотворение «Весна»:

Посвящается друзьям

...Дух жизни, силы и свободы
Возносит, обвеваёт нас!..
И радость в душу пролилась,
Как отзыв торжества природы,
Как Бога животворный глас!

Где вы, Гармонии сыны?
Сюда!.. И смелыми перстами
Коснитесь дремлющей струны,
Нагретой яркими лучами
Любви, восторга и весны!..

* * *

Вам, вам сей бедный дар признательной любви,
Цветок простой, не благовонный,
Но вы, наставники мои,
Вы примете его с улыбкой благосклонной.
Так слабое дитя, любви своей в залог,
Приносит матери на лоно
В лугу им сорванный цветок!..

Славянский мир был хорошо знаком Тютчеву, он тесно связан во всех своих частях, живёт своей собственной жизнью, самобытной и неразрушимой. Физически он разделен, некоторые страны оказались под влиянием «предательства таинственной страстью», позволили овладеть собой чуждым им мировоззрением, латинским господством, но нравственно он всегда будет единым и неделимым, несмотря на нашествие сатанинских сил, нацистских полчищ.

При этом, как сообщал Иван Аксаков, Тютчев был настолько чужд стремлению к известности, широкому признанию, славе, что это прямо-таки поражало в нём: «Можно сказать, что в тщеславии у Тютчева был органический недостаток... Всякое самодовольство было ненавистно его существу... Этот человек... обладал умом необычайно строгим, прозорливым, не допускавшим никакого самообольщения... При этом его уму была в сильной степени присуща ирония, но не едкая ирония скептицизма и не злая насмешка отрицания, а как свойство, нередко встречаемое в умах особенно крепких, всесторонних и зорких, от которых не ускользают рядом с важными и несомненными, комические и двусмысленные черты явлений... При таком свойстве ума не могли же иначе, как в ироническом свете, представляться ему и самолюбивые поползновения его собственной личности, если они только когда-нибудь возникали».

Пушкин и Тютчев

*Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..
Ф.И. Тютчев на смерть Пушкина*

Вадим Кожин рассматривает Фёдора Тютчева как духовного наследника Александра Сергеевича Пушкина. Критик отмечает, что Ф.М. Достоевский видел в Тютчеве «первого поэта-философа, которому равного не было, кроме Пушкина». Л.Н. Толстой склонялся даже к тому, что Тютчев как лирический поэт превосходит Пушкина. В ответ на возражение, что Пушкин «несравненно шире», Толстой говорил: «Зато Тютчев глубже... Тютчев как лирик несравненно глубже Пушкина». «Здесь важен, - как отмечает Кожин, - не столько результат спора на тему «кто выше?», сколько сам факт, что подобный спор возможен».

Тютчев не встречался с Пушкиным, но в стихах реагировал «К оде Пушкина на Вольность», обращаясь к поэту:

...Счастли́в, кто гласом твёрдым, смелым,
Забыв их сан, забыв их трон,
Вещать тиранам закоснелым
Святые истины рождён.
И ты великим сим уделом,
О муз питомец, награждён!

Воспой и силой сладкогласья
Разнежь, растрогай, преврати
Друзей холодных самовластья
В друзей добра и красоты!

К сожалению, до сих пор «друзья самовластья» не принадлежат к «друзьям добра и красоты», скорее, наоборот, и это актуально до настоящего времени — необходимость «вещать тиранам закоснелым//Святые истины».

В 1836 году, за полгода до гибели Пушкина, в двух номерах «Современника» были напечатаны двадцать четыре стихотворения Тютчева. Под ними были буквы «Ф. Т.»; носили они одно общее название: "Стихотворения, присланные из Германии". Судьба не одарила Тютчева встречей с Пушкиным, но он стал близким другом пушкинских друзей — Жуковского, Чаадаева, Вяземского. Обращаясь к образу Тютчева, Кожин рассказывает о врагах Пушкина, ставших врагами и его любимого поэта.

«Исполнители» убийства Пушкина — Геккерн и его «приемный сын» Дантес были хорошо известны Тютчеву. Изгнанный в 1837 году после убийства Пушкина из России Геккерн через пять лет сумел стать

голландским послом в Вене. Он сыграл, — рассказывает Кожин, — свою роль в подготовке того отвратительного предательства, которое совершила Австрия по отношению к своей давней союзнице России во время Крымской войны.

Дантес же был доверенным лицом Луи-Наполеона — одного из главных организаторов Крымской войны, Дантес даже был возведён в сан сенатора Франции. Словом, главные враги Пушкина и России были и в стане главных врагов Тютчева.

Наш век

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвётся из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит...

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня!- Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!...»

Список врагов Тютчева продолжает имя графа Карла Васильевича Нессельроде, министра иностранных дел России, а затем канцлера, о котором Тютчев написал:

Нет, карлик мой! Трус беспримерный!..
Ты, как ни жмися, как ни трусь,
Своей душою маловерной
Не соблазнишь Святую Русь...

В 1938 году Г. И. Чулков, автор книг не только о Пушкине, но и о российских императорах, писал: «В салоне Нессельроде... не допускали мысли о праве на самостоятельную политическую роль русского народа... ненавидели Пушкина, потому что угадывали в нем национальную силу, совершенно чуждую им по духу...» В 1956 году И. Л. Андронников утверждал: «Ненависть графини Нессельроде к Пушкину была безмерна... Современники заподозрили в ней сочинительницу анонимного „диплома“...

Почти нет сомнений, что она — вдохновительница этого подлого документа».

Противостояние Пушкина и четы Нессельроде имело в своей основе отнюдь не «личный» характер, о чем убедительно писал в своём исследовании Д. Д. Благой. Дело шло о самом глубоком противостоянии — политическом, идеологическом, нравственном; кстати сказать, после гибели Пушкина Тютчев (написавший об этой гибели как о «цареубийстве») словно бы принял от него эстафету в противостоянии Нессельроде.

По словам Благого, Нессельроде и его круг представляли собой «антинародную, антинациональную придворную верхушку... которая издавна затаила злобу на противостоящего ей русского национального гения».

Кожин говорит о том, что, посещая европейские великосветские салоны, Тютчев видел, что там господствует «пламенное, слепое, неистовое, враждебное настроение» по отношению к России и открыто делился своим пониманием политической обстановки... Через пятнадцать лет после гибели Пушкина Карл Пфеффель, брат второй жены Тютчева, сообщит ей о Нессельроде: «Канцлер рассматривает возможно слишком пылкие речи, произносимые Тютчевым в салонах на злободневные политические темы, как враждебные ему выступления. Считаю своим долгом вас об этом предупредить, чтобы вы убедили Тютчева утихомириться».

Тютчев же знал о том, что Нессельроде очень постарался, чтобы Пушкин был отправлен в Южную ссылку, не платил Пушкину жалованья, не говоря уже об участии в подготовке к дуэли. Он писал о Нессельроде: «Вот какие люди управляют судьбами России!.. Нет, право, если только не предположить, что Бог на небесах насмеяется над человечеством... невозможно не предощутить переворота, который, как метлой, сметёт всю эту ветошь... Лет тридцать тому назад барон Штейн, человек, наиболее ненавидевший это отродье, встретившись с нашим теперешним канцлером на каком-то конгрессе, писал про него в своих письмах: «Это самый жалкий негодяй, какого я когда-либо видел».

Космическое мироощущение

*Они глумятся над тобою,
Они, о родина, корят
Тебя твоею простою,
Убогим видом черных хат...*
Иван Бунин

Как писал русский религиозный философ Николай Сергеевич Арсеньев, учение русских Любомудров о духовной интуиции и «о живой духовной сущности мира и об иерархии её образующих частей» - это мировоззрение «оплодотворило мысль» ряда величайших русских поэтов-мыслителей. К ним в первую очередь относится Ф. И. Тютчев, так как он связан с западной культурой и вместе с тем глубоко укоренен в почве русской. Он «философский провидец», ощущавший духовную ткань мира.

Характерные черты поэзии Тютчева: «захваченность красотой», раскрывающейся перед ним и на Западе, и на Востоке. «В его поэзии не только культура Италии, Франции, Германии, но и глубокая укоренённость в русском народном православном благочестии, в нем также соединение страстной нежности души с силой и размахом мужественно и пристально созерцающей мысли. «Мучительно и страстно» он ощущает борьбу в душе русского народа, борьбу славянофилов с западниками –проклятием России. И то же он ощущает в мире, в природе: врывающаяся тьма, страшный взрывающийся хаос, близко подходящий к нам, касающийся нас.

Тютчев раскрывает в поэзии душу мира, потому что природная и космическая жизнь составляют основу, на которую опирается и смысл космического процесса, и судьба человеческой души, и вся история человечества.

Мировоззрение Тютчева, его полнота знаний в любой сфере позволяла ему видеть судьбу мира и Родины не только с позиций русского дипломата, но и с высоты провидца: он запретил распространение в России коммунистического «Манифеста». Николай I поддержал инициативы [Тютчева](#) в работе по созданию позитивного облика России на Западе. По словам Ивана Аксакова, ничто не раздражало его в такой мере, как скудость национального понимания в высших сферах, правительственных и общественных, как высокомерное, невежественное пренебрежение к правам и интересам русской народности".

Книга В.В. Кожина представила читателю образ человека-мыслителя, поистине всемогущего; его дух свободно обнимает беспредельность пространства. Творческая деятельность Тютчева стала

истоком для разработки русскими философами учения космизма. Из него родились идеи В.И. Вернадского о ноосферной цивилизации. Разработки П.Сорокина, К. Циолковского являются наиболее перспективными для цивилизации будущего, основанной на ответственности за жизнь, природу и Космос, - это «космическое послание» России, её динамической гармонии – человечеству. Духовными наследниками Тютчева стали Павел Флоренский, Иван Ефремов, Чингиз Айтматов, наш современник Евгений Чебакин – автор романа «Ковчег для третьей мировой», и этим спасительным для планеты ковчегом является Россия.

Читая книгу В.В. Кожина о Тютчеве, мы постигаем общность духовных исканий критика и поэта с нашей современностью — временем кризисным, эпохой переоценки ценностей, в том числе и в литературе. Современное искусство стало отделять эстетику от этики, художественное творчество — от совести, вдохновение — от нравственного начала, превозносит тёмное, подсознательное, физиологическое в человеке. Такой подход неприемлем.

Во-вторых, философия литературы и истории Кожина оказывается чрезвычайно плодотворной для осмысления развития мирового художественного творчества и его дальнейших перспектив. В эпоху всеобщего упадка духовности, книга указывает направления и пути реального выхода из кризиса. Критика Кожина составляет одну из ярких страниц русской литературы, где в качестве приоритетных формулируются задачи преодоления оторванности от истории и традиции русской культуры.

Сергей КОЛЕСНИКОВ (Белгород)

2 место в номинации «Философское эссе»

Вопрошание Бога о поэте...

(религиозные мотивы лирики Ф. И. Тютчева)

Над человеком сегодняшнего дня с особой остротой и натиском висит неизбывный вопрос – вопрос, задаваемый Богом еще в Эдеме: «Где ты?» (Быт. 3:9).

Мы все сегодня находимся под этим рокошующим в своей суровости и милости вопросом.

Мы рассматриваем себя сквозь переливающиеся грани Божественного вопрошания, оглядываемся вокруг, стремясь найти себя, – и находим... пустоту! Утрата оснований, растворение начал, расширяющееся ничто, крушащая неопределенность, врывающееся отсутствие – все наваливается лавинообразным потоком в сознание человека, потерявшего ответ на заветный вопрос, человека, потерявшего себя в хаосе вещей и идей, лиц и концепций.

Книги, открываемые нами, перестают звучать мелодиями светлых ожиданий и внутреннего покоя. Картины, ранее высвеченные изнутри, теряют проникновенный свет, их мудрый цвет рассыпается в прах. Музыка останавливается на полпути, звуки симфоний и элегий осыпаются, подобно сухим листьям, – лишь шелест, невнятный шепот, сухое шуршание трущихся друг о друга терций и квинт...

С этого мига прохождение по аллеям Эдема превращается в блуждание по темным лабиринтам свирепых вопрошаний, где слева бьет наотмашь вопрос «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» (Иов. 14:14); а справа – беспощадным апперкотом! – «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Лук. 18:18). Вопрос «что делать» теряет школьно-дидактический характер, теперь это вопрос, прогрызающий нас изнутри, выедающий наши надежды и мысли, наши чаяния и ожидания.

Пустота обступает нас, мы вступаем в пустоту, пустотой начинаем мерять наши шаги, в пустоте исчезают наши сердца!

...И вот здесь, именно в этот момент самого тяжелого вопрошания, самого разрывающего спрашивания с самого себя, в кульминации дурной бесконечности гнетущего монолога распадающегося сознания – «где же я?»,

«кто же я?» – в этот момент перед нашим читательским взором появляется сборник стихов Федора Ивановича Тютчева.

Растление души и пустота

Что гложет ум и в сердце ноет, —

Кто их излечит, кто прикроет?...

– эти поэтические строки великого русского поэта становятся мудрым зовом к обретению долгожданного выхода, к воскрешению того, что казалось навсегда потерянным и растраченным.

Сборник стихов с вычерченными заглавиями «Живя, умей все пережить...» или «Есть час, в ночи, всемирного молчания...» распахивается сам собой, словно раскрывается твердая ладонь верного друга, словно вспыхивает долгожданная заря нового мира, где явлены будут «новое небо и новая земля». И мы начинаем с трепетным ожиданием ощущать приближение заветного ответа на мучительные вопросы:

Кто их излечит, кто прикроет?

Ты, риза чистая Христа...

Так начинает звучать живительный гимн стихотворений Тютчева, гимн, скользящий над омутами наших заблуждений и слабостей, гимн, изгоняющий тени смертные. В поэзии Тютчева, как в каждом подлинно духовном гимне, соединяются верность отеческой традиции целостность обретаемого новаторства, заложены четкий духовно-нравственный результат и предзадан способ видения реальности.

Через Тютчева в современность возвращается тональность религиозного гимна, мы вновь научаемся слышать забытые гимнографические обертоны – в их призывах к смиренному славословию («Слава в вышних Богу») и возвышенной похвале («Хвалите, отроки, Господа»). Никто, пожалуй, кроме Тютчева, не способен настроить свою поэтику на такую своеобразную «ипофонную» мелодику, когда отдельные строфы выговариваются/выпеваются одиноким печальным человеком, а затем – в припеве! – вступает хор, напоминающий о величии мироздания и вселенском милосердии, напоминающий, что на той стороне привычных вещей открывается извечное присутствие добра и блага.

Практически каждое стихотворение Тютчева может быть считываемо в тонике «светильничного благодарения» (Василий Великий), звучащего в благодатности утихающих сомнений и тревог. Через неразрывное слияние в тютчевской поэзии тихого света и мудрого слова происходит поэтическое

Богопознание, раскрывающее перед человеком возможность заговорить о Боге, заговорить с Богом.

Устремленность тютчевского слова к Божественному уподобляется ангельскому возлетанию-служению, в котором само движение сквозь хрустальные сферы становится вселенским славословием Бога. В преодолении «земной плоти» поэтическое слово Тютчева напоминает о подлинной значимости человеческой речи, чье главное предназначение «славить Господа, призывать Его имя» (Ис. 12:3). Смысловые гармонии таких стихотворений, как «Над этой темною толпою», «Когда на то нет Божьего согласия», «Последний катаклизм» и многих других, начинают переплетаться с небесной акустикой, дающей поэтическому слову право зазвучать на самых верхних уровнях Божественного бытия.

Небеса распахиваются в поэзии Тютчева, небеса начинают проступать и наступать в наш земной мир, являя все великолепие хрустальных, зеркальных, сапфировых оттенков небосвода, максимально близкого к Богу. Слово поэта преобразуется в лестницу, возносящую наше читательское восприятие в реалии иного небесного мира. Небо, просвечивающиеся за каждой поэтической строкой Тютчева, – это «новое небо», простирающееся над «новой землей», это жилище спасенных, в котором читаются книги с именами, записанными на небесах.

Акустику новых небес использует Тютчев для научения новому взгляду – взгляду на Другое, мудро открывая читателю спасительный навык видеть Другое:

*Другую видим мы природу,
И без заката, без восхода,
Другое солнце светит там...*

Воздух, в котором движутся слова Тютчева, преобразуется в «другое» состояние. Теперь в воздухе, пропитанном фимиамом тютчевских рифм, накапливаются главные сокровища души: сокровища непогибающие, сокровища, созвучные и со-местные с нашими сердцами. Совершенство и красота поэтического слова Тютчева напоминает о небесном месте славы, в которое возносит воздушный поток тютчевских слов каждого, кто искренне прикоснется к его поэзии.

Тютчев научает главному: человеческое слово способно открыть свою родственность Божественному слову. Однако для этого требуется перенастроить весь лад своего сознания на тональности Священного

Писания, где человек и Бог встречаются на великих страницах. Тютчев в своем поэтическом наследии ярко и образно реконструирует такую библейскую встречу «лицом к лицу» с Божественным, предлагает принять читателю-современнику на себя статус участника диалога с Божественным. В этом еще одна грань уникальности тютчевской поэтики: он переносит читателя в ситуацию Богообщения, и, самое главное, милосердно и мудро подсказывает, на каком языке говорить с Богом.

Когда Тютчев в тональности пророка восклицает:

*Мы верим верою живою,
Как сердцу радостно, светло!
Как бы эфирною струею
По жилам небо протекло...*

– то в этих словах надо расслышать важный урок: небо должно войти в человеческую плоть, небеса и кровь родственно соединимы, и только в таком теле возможен язык, достойно соответствующий уровню диалога с Божественным.

Слово, которое произнесено телом, открытым небесам, – таков статус поэта, воплощенного в поэзии Тютчева. Акустика небес и есть основание для тех высот, на которые поднимается тютчевское слово. В его верности небесному происхождению поэзии заключено позволение вернуть поэзии ее изначальный смысл, смысл делания (ποίησις, ποιέω, делаю) подлинно нового.

Слово Тютчева создает настоящее новое – то, что всегда останется новым в бьющемся ритме поэтических строк и в величии разворачивающихся поэтических фигур. Поэтика Тютчева – это поэтика «пропитывания» Божественно-новым всего личного опыта, всего поэтического состава.

Видеть мир через призму Бога, видеть мир в Боге, а Бога в мире – это и означает вчитывание в тютчевские строки. Тютчев научает лицезреть Бога, рассказывает о своем поэтическом опыте Богообщения, показывает место присутствия Бога, повествует о встрече с Божественным:

*Он милосердный, всемогущий,
Он греющий Своим лучом
И пышный цвет на воздухе цветущий
И чистый перл на дне морском!..*

И здесь поэт указывает на важнейшее, с его точки зрения, качество Бога, которое явлено в красоте Божественного присутствия.

Соната присутствующей Красоты придает поэтике Тютчева необычайно выразительный смысловой характер. Открытость тютчевской поэзии красоте распахивает новые горизонты человеческого взгляда на мир – впереди начинает сиять зовущий простор любви к красоте, о силе воздействия которого еще Макарий Египетский говорил, что человек любовью к красоте «связан и упоен ею, погружен и отведен пленником в иной мир». Тютчев являет особую поэтическую решительность, которая требует смелости всматривания-вслушивания в обертоны Прекрасного. Это уникальная поэтическая смелость, выраженная в умении поэта быть готовым к принятию красоты Бога. Рождается такая готовность принятия из ощущения глубинной радости, скрытой в Божественном явлении, – так в поэтике Тютчева раскрывается «полнота радостей пред лицом Твоим» (Пс. 15:11).

*Когда пламенной струею
Сверкают гордо небеса,
Над озаренною землею
Не Бога ли блеснит краса?..
Без веры в Бога — мимо, мимо
Промчится радость бытия!..
Пошлет ли Он огонь без дыма?
И дым пошлет ли без огня?»*

Самые глубокие стихотворения Тютчева – это стихотворения-портреты, стихотворения-иконы, на которых проступает красота Божественного лика. Прекрасное осознается в своей вселенской масштабности только в свете Божественной красоты, и Тютчев не устает напоминать об этом.

Мир, созерцающий красоту «лица Твоего», – таков поэтический мир Тютчева.

*Все лучшее там, светила шире —
Так от земного далеко...
Так разнo с тем, что в нашем мире —
И в чистом пламенном эфире
Душе так радостно легко.*

В свете Божественной красоты меняется все – время и пространство, люди и вещи, идеи и надежды, печали и радости.

В стихотворных строках Тютчева открывается неповторимая композиция времени и красоты. Красота и время идут рука об руку, поднимаясь по лестнице строф тютчевских стихотворений. Время для Тютчева – прекрасно, но это отсвет Божественной красоты, которая вызревает на гранях времени.

Божественная красота неожиданно проступает на мгновениях человеческого времени, и тогда поэтическое время – время «любимых очей», «младенческих первоначальных лет», «хрустально-лучезарных вечеров», «медовых полей» – становится по-настоящему прекрасным.

В длящемся времени поэтического произведения проявляется истинная Божественная красота, разверзающаяся в ранах неподлинных красот и научающая – через стигматы страдающего прекрасного Бога! – полноте истины. Бог являет себя в стихотворениях Тютчева полнотой Красоты, Красотой самой красоты:

Чертог Твой, спаситель, я вижу украшен...

Повествование о красоте Божественного и есть высшая миссия поэзии, которую берет на себя со всей ответственностью пророка и смелостью художника Тютчев. Ритмичность строф Тютчева в паузах и ударениях настраивает на иной ритм мировосприятия, когда мгновения красоты прерывают монотонность повседневности. У Тютчева человек в ритме Божественных пульсаций предстает как призма великих вопросов, в свете которых отсеиваются второстепенные, «слишком человеческие» определения. Читатель, прикоснувшись через Тютчева к Божественной красоте, уже никогда не сможет забыть о зримости прекрасных слов, о выразительности средств языка, о глубине мысли поэта и о спасительном звучании поэтических строк.

Подлинно духовная красота призывается Тютчевым в мир через поэтическое осмысление, и результатом такого призывания становится благодарение за возможность восприятия красоты, возникновение радости от присутствия духовно-прекрасного в том поэтическом месте, где человек открывает себя Богу, встречается с Божественным. Контуры места встречи с Богом определяемы, в том числе, и контурами воспринимаемого прекрасного, и тогда поэзия Тютчева получает уникальную возможность преобразиться в жизнеутверждающий и благодарящий гимн, расширяет горизонты духовного восторга перед миром Божьим.

В блеске поэтических озарений Тютчев вводит читателя в реалии Откровения, подсказывает нужные слова, которые способны помочь в продвижении по пути Богопознания. Встреча с Богом, ожидающая человека, становится ближе и в то же время грандиознее после прочтения тютчевских стихотворений. Глубинный контур чаемой Встречи описываем

стихотворными ритмами, в которых бьются библейские «блески молний», но и льются мелодии покоя и надежды.

Поэтическое богословие красоты, как и богословие чаемой Встречи, впаянные в поэтику Тютчева, неуклонно переходят в богословие Славы. Встреча с подлинно прекрасным преображает стихотворение в Творение, что требует смиренного служения и самоотверженного восхваления Господа: «...нужно служить Господу с радостью и ходить перед лицом Его с восклицанием» (Пс. 99:2).

*Мы ждем и верим Провиденью:
Ему известны день и час,*

– восклицает Тютчев, подтверждая свою верность прославлению Божественного присутствия и принимая свой поэтический труд как форму литургического служения.

Красота, приближающаяся Встреча, литургическая поэтичность, духовная визуализация поэтических образов, величие прославления – все это формирует фундаментальные основы духовной эстетики Тютчева.

Красота, ведущая к Встрече, обладает у Тютчева такой духовной мощью, что способна выводить его поэзию на космологический уровень. Христианская космология Тютчева поражает своим масштабом и размахом: через веру становится явленной «неразрешимая тайна» мироздания. Тютчев объясняет существование первооснов бытия их Божественной благословением, тем, что вселенная вся горит и переливается в лучах Божьего мира. Поэзия Тютчева настолько открыта Божественному присутствию, что впускает в стихотворные просторы своеобразную «логику». Тютчев писал в одной из своих статей: «Логика Промысла – словно солнце в судьбах мира; это – внутренний закон, управляющий событиями мира». Христианская космология Тютчева, воплощенная в его поэзии, передает «логический» опыт Божественной симфоничности, восстанавливает в правах литургическую поэзию, в которой заключена неизбывная память о целостности бытия, о взаимосвязанности бытия и Бога, связанности всего со всем – образа с образом, слова со словом, человека с Богом.

Неизбывным рефреном звучит в стихотворениях Тютчева утверждение-моление о величии Божественного присутствия, определяющего все бытие:

*Великий Бог —
Жизнь миров и душ светило.*

В поэтической вселенной Тютчева начинает звучать всестройное сладкопение, слушателем которого становится каждый открывающий его томик стихов.

В поэтике Тютчева возникает невозможное, возникает неразрывный союз метафоры и христианского космоса. Метафора выводится поэтом на космологический уровень, через поэтическую метафору оказывается скрепленным воедино весь мир, вся природа. Метафора, озаренная Божественностью, позволяет понять озаренную и согретую природу уже не как загадочного, вне-человеческого «сфинкса», а как «благовест всемирный». Природа, космос, вселенная, соединенные метафорой, обретают главное – душу, открытую для Божественной любви:

*Не то, что мните вы, природа —
Не слепок, не бездушный лик:
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.*

Тютчев воссоздает некогда звучащее в святоотеческом наследии особую форму постижения мира – через «песнословие» Богу. Меняется не только природа, открывающая через славящую метафору свою подлинную принадлежность Божественному:

*Когда пробьет последний час природы,
Разрушится состав частей земных;
Все зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них;*

меняется и поэтическое слово, повествующее о Божественной сущности природы. Поэтическая метафора научает новому мировосприятию, в котором открывается лазурная палитра смыслов, вселенская вознесенность, доверительная потаенность, просветляющая многозначность судьбы.

Метафора как единственная возможность что-либо рассказать о Божественном в полной мере используется Тютчевым для построения каркаса убедительности – убедительности в Божественном присутствии. Поэтическая метафора преобразается в поэтическое богословие, где снимается бессвязная гамма смыслов и устанавливается выверенная система христианского миропонимания. Язык и мир становятся понятными и ясными, как гармония сил и законов Божиих, как надежда на спасение, как уверенность в милости Божьей.

День пережит – и слава Богу;

– возглашает Тютчев, и в этом заветном славословии явлены законы нового поэтического языка, способного рассказать о другом, Божественном мире. После прочтения тютчевских строк открывается другое зрение и преображается душа:

*Другую видим мы природу,
И без заката, без восхода,
Другое солнце светит там...
Все лучшее там, светила шире —
Так от земного далеко...
Так разнo с тем, что в нашем мире —
И в чистом пламенном эфире
Душе так радостно легко.*

Поэтика Тютчева обретает какую-то удивительную прозрачность, сквозь которую проступают глубинные основы мира Божьего, сквозь которую раскрываются тайны слов, превращающиеся из отдельных знаков в сокровенное знание знаков. Тютчев – и его читатель! – теперь знают мир, принимают окружающую реальность в ее родственности познания, в осознании смиренного и в то же время величественного положения человека в мире.

Тютчев напоминает человеку:

*И не дано ничтожной пыли
Дышать Божественным огнём;*

– но вместе с тем поэтическом мировидение вселяет надежду на обретение «других», подлинно духовных состояний:

*О, вещая душа моя,
О, сердце полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..*

Тютчев, создавая вселенную, открытую Божественному, выстраивает лексикон «неслыханных слов», в которых слово обращается служением, в котором святость и реальность оказываются неразделенно связанными.

Поэт открывает новое состояние поэзии, новую задачу поэзии – служение Божественному присутствию через рифму, через симфонизацию слова. Судьба человеческая раскрывается Тютчевым как своеобразная «рифма» духовных поступков, жизнь предлагается прожить как духовное стихотворение, в котором главным становится поиск «рифмы» спасения:

*Не знаю я, коснется ль благодать
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и востать,
Пройдет ли обморок духовный?*

Человеческая судьба – трагическая, болезненная, жесткая, утрачивающая – эта судьба должна быть рифмована с ритмом Божественного присутствия, – и тогда судьба возносится в служение.

Поэзия становится подвижничеством, где происходит симфоничное слияние подвига и слова. В этом призывании к подвижничеству Тютчев парадоксально несовременен: наша реальность чаще всего стремится дистанцироваться от принятия духовного героизма, уводит в лакированную комфортность и глобальное потребительство, где уже нет места дерзанию, героизму. Но Тютчев просит – требует! – от читателя иного: вернуть духовно-эстетическую значимость подвижничества через слово, показывает, что поэтическое слово способно вознестись на уровень подлинной духовной героики, что слово обретает право и обязанность заговорить о духовном героизме, обозначить перспективы настоящего подвига, доказать востребованность подвижнического дерзания в условиях современной культуры.

Тютчев зовет к спасению – через яркое поэтическое слово:

*Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые, —
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа на век прильнуть.*

– и это спасение близко.

...Вопрос, нависающий над каждым из нас, оказывается преображенным завещанием, оставленным нам ярким и самобытным талантом Тютчева: найти себя как духовного человека и вручить свою душу Богу!

Заветные времена приближаются, – и Тютчев всегда будет с нами в самые тяжелые часы человеческой судьбы:

*Но час настал, пробил... Молитесь Богу.
В последний раз вы молитесь теперь!...*

Дарья БЕЛОВА (Сельцо)

3 место в номинации «Философское эссе»

«Мы были целыми»

Что для Вас одиночество? Закройте глаза. Подумайте. Может, это пустая комната, где находитесь только Вы? Или переполненный людьми стол, за которым не у кого спросить совета? У каждого — своё.

У Ф. И. Тютчева одиночество — это стоять на краю высохшей пропасти. Это положение человека в мире, утратившем голос. Он видит одиночество не как социальную нехватку, а как разобщенность бытия и «я». Мы рождены одинокими — и мы умрем одинокими. Но как мы будем жить между этими двумя точками?

Одиночество охватывает нас на всех уровнях бытия. Мы привыкли видеть в нём общественную проблему: мол, не с кем поговорить, некому позвонить, некого любить. Но если прислушаться глубже, становится ясно — одиночество не исчерпывается отсутствием близкого человека рядом. Оно идёт изнутри. Из сломанной связи — с миром, с природой, с символическим порядком, внутри которого раньше жил человек.

Множество людей страдает от этого «недуга» и оправдывается: «мне это нравится», «да я как-то и среди людей его чувствую», «у меня нет времени и возможности». Но всё это — поверхностные объяснения. Причина — не в людях и не в обстоятельствах. Причина — сложнее.

Может показаться, что это связано с упадком романтического флёра с окружающего мира: никто больше не пляшет вокруг березок, завязывая на веточки ленточки, и не обращается к воде — но нет. Почти. То, что нам кажется наивным язычеством, на деле было формой связи. Обряды, жесты, даже простое прикосновение к дереву несли в себе интенцию соединения — с землёй, с другим, с ритмами, которые не поддаются рациональному постижению. Это не была просто «вера в природу», это была практика сопричастия, способ быть. Всё это — формы чувствования мира как живого, одушевленного; как собеседника.

Мы перестали чувствовать себя частью целого. Это и есть настоящая причина: падение мифа. Появились «я» и «ты», «небо» и «земля», «природа» и «человек». Сегодня мы изучаем мифологию в школах и университетах — но больше не живём внутри неё. Мы анализируем образы, но не чувствуем их. Природа стала иллюстрацией в учебнике, объектом исследования, а мы —

замкнутым «я». Из цельного сознания мы постепенно впали в индивидуализм, «в нас самих лежит залог гибели нашей», – писал Тютчев. И, возможно, он предвидел: современный человек не только одинок – он даже не замечает этого, прикрываясь словами «эпидемия одиночества», но без «возбудителя» и «лекарства». Одиночество стало нормой, неотъемлемым следствием потери связи с мифом, с природой, с другим. Именно это слышал Тютчев – в молчании леса, в молчании неба, в одиночестве человека перед природой, ставшей безответной. Его строка «Природа – сфинкс. И тем она верней своей загадкой губит человека», – ощущение экзистенциального разрыва, который философ Николай Бердяев позже назовет у человека «отъединённым от космоса, замкнутым в себе, потерявший связь с абсолютным бытием». Мы больше не входим в мир как в пространство соучастия. Нам больше не с кем поговорить. Когда-то шутили, что обнимать берёзу – русская психотерапия. Теперь и это кажется нелепым. Мы больше не обращаемся к ней. Природа больше ни собеседник, ни носитель тайны, ни двойник. Теперь она – ресурс. Теперь она – оно.

В нас утрачено сведущее начало – то, тонкое, почти незаметное внутреннее знание, через которое человек чувствовал ритм и смысл мира. Ни интеллект, ни логика, ни наука – а именно интуитивное чувственное участие. Это то, что соединяло небо и землю, дух и тело, миф и реальность. Мы не свободны. Мы отчуждены.

Вернемся ли мы к той цельности, в которой мир был полнозвучным, а одиночество — неведомым? Неизвестно. У Тютчева природа молчит – но не потому, что она пуста, а потому, что человек утратил способность быть услышанным. Мы больше не умеем вступать в тайное соучастие, а значит и в самую возможность целостности. Но Ф.И. Тютчев успел зафиксировать этот застой – ту тревожную, предельную тишину, из которой и начинается философия.